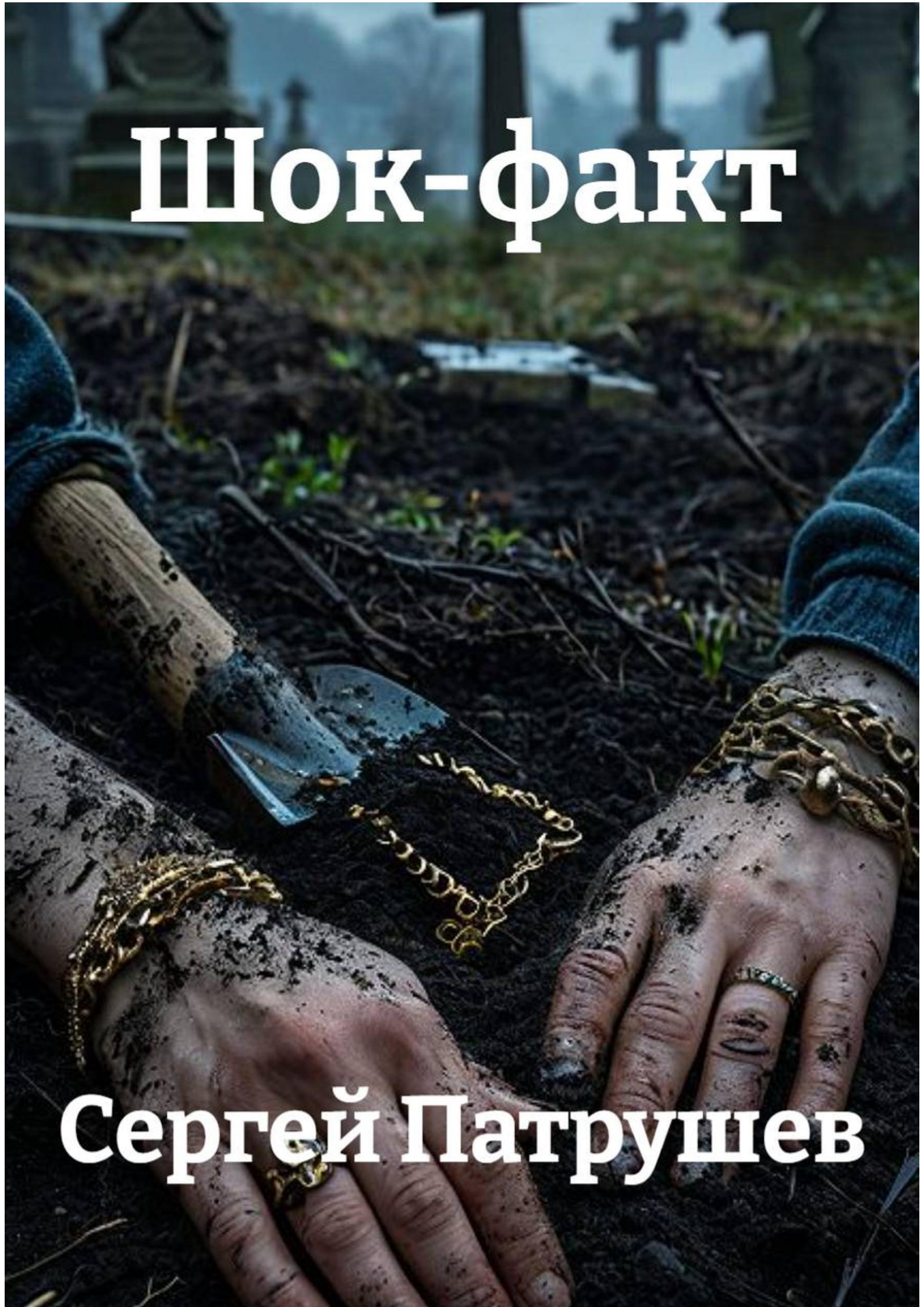


Шок-факт

A close-up photograph of a person's hands, heavily soiled with dark earth. The hands are adorned with multiple gold chains and rings. The person is holding a shovel, with its metal head and wooden handle visible. The background is a blurred cemetery with several tombstones under a grey, overcast sky.

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Шок-факт

«Автор»

2026

Патрушев С.

Шок-факт / С. Патрушев — «Автор», 2026

Мой муж Игорь погиб две недели назад. Разбился на мотоцикле. Закрытый гроб, венки, три гвоздики. Я мыла руки по сто раз на дню, но чёрная земля под ногтями не исчезала. Откуда она, если я не копала могилу? Он купил лопату за три дня до смерти — финскую, штыковую. Он арендовал заброшенный участок и перепачкался в глине. А потом соседка шепнула, что видела его живым за день до похорон. Ночью я пришла на кладбище с лопатой. Под холмиком оказался люк. А под люком — бункер. С лестницей, светом и запахом «Красной Москвы» — духов моей младшей сестры, которая якобы живёт в Берлине. Игорь не погиб. Игорь ждал меня под землёй. Но когда дверь бункера захлопнулась за моей спиной, я поняла: он приготовил место не только для себя. Для нас обеих. Его рай — это могила на троих. И я только что спустилась в неё добровольно.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чернозём под ногтями	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Сергей Патрушев

Шок-факт

Глава 1. Чернозём под ногтями

Мир не останавливается, когда останавливаешься ты. Это, наверное, самое подлое его свойство. Самое незаметное, пока ты бежишь вместе с ним в общем потоке, и самое беспощадное, когда поток этот уносится дальше, а ты остаёшься лежать на берегу, как выброшенная штормом коряга. За окном моей кухни, заляпанным мартовской грязью так, что сквозь него едва пробивался свет, жизнь продолжала пульсировать с той же монотонной, механической настойчивостью. Тягуче всхрапывал дизелем рейсовый автобус маршрута номер сорок семь, тот самый, на котором я ездила в институт десять лет назад. Он выпускал в сырой, промозглый воздух клубы сизого, почти осязаемого дыма, и дым этот стелился по асфальту, смешиваясь с испарениями от луж, затянутых по краям тонким ледком. В супермаркете «Пятёрочка» напротив, сквозь витринное стекло, подсвеченное мертвенно-белым неоном, мне было видно, как женщина в бежевом пуховике сосредоточенно перебирает авокадо. Я смотрела на неё уже минут пятнадцать, и за это время она успела перетрогать, наверное, половину ящика. Она подносила каждый плод к самому носу, близоруко шурилась, давила на тёмную шершавую кожуру большим пальцем, оставляя на ней микроскопические вмятины, и недовольно, с каким-то даже брезгливым выражением лица откладывала его обратно к собратьям. Её жизнь была наполнена смыслом выбора идеально спелого фрукта к ужину. Её мир вращался вокруг степени мягкости авокадо, и в этом была своя, пусть и нелепая, но гармония.

Моя жизнь кончилась две недели назад. Четырнадцать дней. Триста тридцать шесть часов, если считать грубо, а если совсем точно — то каждая минута, каждая секунда была отдельной маленькой смертью. Но мир этого упорно не замечал. Он продолжал жужжать люминесцентными лампами, пахнуть бензином, требовать оплаты коммунальных счетов и предлагать скидки на новую коллекцию мясных нарезок. А я сидела на подоконнике, поджав под себя ноги в толстых шерстяных носках, и смотрела на свои руки. На свои ногти.

Под ногтями была земля. Чёрная, жирная, вьёвшаяся в самую структуру ногтевой пластины так, словно это был не кератин, а пористая промокашка.

Я рассматривала их уже битый час, поворачивая кисти то так, то эдак, подставляя под скупой дневной свет, который едва пробивался сквозь немытое стекло. Это были руки прачки или могильщика. Руки человека, который долго и отчаянно копался в сырой земле, не жалея ни кожи, ни суставов. Заусенцы топорщились во все стороны жёсткой, сухой бахромой, цепляясь за ткань одежды при малейшем прикосновении. Кутикула воспалилась, вздулась красной, болезненной каймой, а сгибы фаланг пересекала тонкая сетка мелких трещинок, в которые тоже набилась чёрная пыль — такая микроскопическая, что не выковырять никакой иглой. Я разве что не спала с железной мочалкой. В первое утро после похорон я почти час терла руки в ванной, сменяя одно средство за другим. Хозяйственное мыло семьдесят два процента — то самое, коричневое, с выдавленными буквами, от которого кожу стягивает так, что больно сгибать пальцы. Дегтярное мыло — чёрное, вонючее, оставляющее после себя запах гари и больницы. Какая-то едкая паста с абразивной крошкой, которую я нашла в старой коробке с инструментами Игоря, стоявшей в кладовке ещё с тех времён, когда он увлекался ремон-

том мотоцикла и вечно отмывал руки от машинного масла. Я тёрла и тёрла, до красноты, до жжения, до крошечных капелек крови, выступающих там, где лопалась слишком истончённая кожа. Кожа на костяшках слезала тонкими, полупрозрачными лепестками, под которыми проступала розовая, беззащитная, почти младенческая новая кожа. Но чернозём уходил лишь на час или два, а потом проступал снова. Он появлялся исподволь, незаметно, словно прорастал из глубины тканей, из самого нутра капилляров, как какая-то неизлечимая грибковая инфекция души.

Это сводило с ума. В самом прямом, клиническом смысле. Я чувствовала, как мой рас-судок, ещё недавно такой цепкий и логичный, начинает пробуксовывать, как сцепление на старой машине Игоря. Мысли ходили по кругу, как заезженная пластинка. Четырнадцать дней. Четырнадцать раз я заваривала чай и забывала о нём, и чай покрывался мутной радужной плёнкой, а на стенках кружки оставался коричневый ободок, который потом приходилось оттирать с содой. Четырнадцать раз солнце умирало за панельными девятиэтажками нашего спального района, заливая комнату липким апельсиновым сиропом заката, а я не включала свет, сидела в наступающей темноте и слушала, как на кухне капает из неплотно закрытого крана — кап-кап-кап, — отсчитывая секунды моего нового, пустого времени. Я считала каждые сутки, загибая пальцы, те самые, грязные, но счёт постоянно сбивался. Время превратилось в кисель, в вязкую, аморфную субстанцию, которая не текла вперёд, а колыхалась на месте. Игоря похоронили две недели назад, в промёрзшую, но уже податливую мартовскую землю, когда снег почти сошёл, оставив после себя серую, напитанную влагой почву и островки грязного, ноздреватого льда в тени оград. А эта чёрная кайма под ногтями вела себя так, будто похороны всё ещё длятся. Будто я сама, своими голыми руками, рыла могилу для человека, с которым прожила семь лет. Но я не рыла. Я стояла в толпе таких же чёрных, бесформенных фигур, ёжась под ледяным мартовским ветром, который забирался за шиворот и охлаждал позвоночник. Я держала три гвоздики, перехваченные липкой флористической лентой, и тупо смотрела, как гроб, обтянутый дешёвым вишнёвым велюром с нелепыми пластмассовыми ручками, качается на брезентовых ремнях над прямоугольной ямой. Ремни были грязные, заскорузлые от сотен таких же церемоний. Гроб опускали неровно, один край задрался выше другого, и могильщикам пришлось поднажать, выравнивая его. Был какой-то негромкий мат, скрип натянутых ремней, глухой стук дерева о землю. Всё.

Знаешь, какая сволочная вещь — горе? Его изображают в кино как очищающий катарсис, как благородную скорбь. Но в реальности это грязная, липкая, унижительная штука. Оно не даёт тебе просто лежать лицом к стене, тихо умирая от обезвоживания. Оно подкидывает тебе загадки. Маленькие, мерзкие, как зубуринки на ключе, который не проворачивается в замке, сколько ни дёргай. Сиди и думай. Думай, Варвара, напрягай свои несчастные, измультивированные бессонницей мозги. Почему земля под ногтями, если я не копалась в земле? Откуда этот запах? И почему он не вымывается?

Я снова поднесла руку к лицу и вдохнула. Запах был густой, многослойный, сложный, как дорогой парфюм, только созданный не в лаборатории, а где-то в недрах земли. Это не был нейтральный, почти стерильный запах цветочного грунта из хозяйственного магазина, который продают в ярких пластиковых пакетах с фотографиями пышных петуний. Не было в нём и сладковатой гнили компостной ямы, того тошнотворно-приторного духа разлагающейся органики. Нет, здесь всё было иначе. Пахло глубиной и сыростью. Так пахнут старые погреба, вырытые ещё дедами и прадедами, в которые спускаешься по шаткой деревянной лестнице, а там, внизу, стоит особый, спёртый, холодный воздух, не тронутый солнцем десятилетиями. Пахло спутанными, разорванными корнями многолетних трав, той терпкой, горьковатой свежестью,

которая прячется прямо под дёрном, в переплетении живого и мёртвого. К этому примешивалась ещё какая-то минеральная нота, что-то вроде мокрой извести или старой кирпичной крошки. Так пахнет земля, которую поднимают с метра, а то и с двух. Так пахнет не поверхность — так пахнет нутро. Нутро земли.

И тут память, эта предательница, работающая по своим, не подвластным логике законам, услужливо подбросила мне картинку — яркую, детальную, как моментальный фотоснимок. Три дня до смерти. Это был вторник, потому что по вторникам я всегда готовила что-то из куриного фарша, и в тот день это были ленивые голубцы. На плите в эмалированной кастрюле кипела вода, я резала лук, и глаза мои слезились так, что мир расплывался в радужном тумане. Хлопнула входная дверь — резко, с металлическим лязгом, как всегда хлопала, когда Игорь был чем-то взволнован или спешил. Он не разувался, хотя я только вчера, стоя на коленях, драила полы в коридоре, оттирая следы его рабочих ботинок. Это было странно: Игорь всегда был педантичен до скрежета зубов, до смешного. Он мог перемыть чашку, которую я только что вымыла, потому что ему показалось, что на донышке остался развод от капли воды. А тут — стоит прямо в уличных ботинках на резиновом коврике, широко расставив ноги, как моряк на палубе, и тяжело дышит, будто бежал по лестнице, а не поднимался на лифте. В руках он держал нечто, завёрнутое в плотную крафтовую бумагу и хаотично перемотанное обычным коричневым скотчем. Сверток был длинный, явно тяжелый, и Игорь держал его с какой-то странной, почти нежной осторожностью.

«Варя, смотри, что достал», — выдохнул он, и в его голосе мне послышалось что-то мальчишеское, давно забытое. Он сорвал бумагу резким, нетерпеливым движением, как ребёнок срывает обёртку с новогоднего подарка, не в силах ждать ни секунды. Блеснула сталь. Холодная, матовая, смазанная каким-то техническим маслом, от которого на крафтовую бумагу тут же потекли тёмные пятна. Лезвие лопаты было широкое, хищно изогнутое, с острым, чуть загнутым кончиком и продольными ребрами жесткости, придававшими ему сходство с каким-то средневековым оружием. «Штыковая, финская. Не чета нашему китайскому ширпотребу, который гнётся на первом же корне. Смотри, Варька, какая балансировка. В руку ложится — как продолжение руки». Он подкинул лопату на ладони, ловя центр тяжести, и я заметила, что с лезвия на пол слетело несколько влажных комочков земли, перемешанных с едкой заводской смазкой, и шлёпнулось прямо на чистый линолеум. «Зачем она нам? — спросила я, не отрываясь от лука и вытирая слезы тыльной стороной ладони. — У нас даже балкона нормального нет, чтобы петунию пересадить, не то что огорода. Мы на девятом этаже живём, Игорь. Под нами — асфальт, над нами — небо. Какая, к чёрту, земля?» Я тогда посмеялась. Легко, беззаботно, как смеются люди, уверенные, что впереди у них ещё долгая, спокойная жизнь, полная бытовых мелочей и уютного ворчания. Игорь ничего не ответил. Он только улыбнулся странной, отсутствующей улыбкой — улыбкой человека, который знает что-то, чего не знаешь ты, и это знание доставляет ему удовольствие, — и унёс лопату в кладовку. Я забыла о ней через пять минут, потому что закипела вода, и нужно было опускать голубцы в кипяток, и несколько капель брызнуло на руку, обжигая.

Теперь эта лопата стояла в кладовке. Вчера я нашла её там совершенно случайно, когда полезла за запасным рулоном туалетной бумаги — рулоны у нас хранились в старом советском шкафу, доставшемся от бабушки, на верхней полке, и чтобы дотянуться, нужно было сдвинуть с места старый пылесос «Тайфун» и коробку с ёлочными игрушками. Лопата стояла в углу, вертикально, как ружьё в караулке. Она была уже не в крафтовой бумаге, а аккуратно, почти педантично завёрнута в плотную чёрную плёнку — ту самую, которую используют для парников. Я, повинувшись какому-то мутному, сомнамбулическому порыву, размотала верхний край.

Лезвие было тщательно отмыто до зеркального блеска, начищено так, что в нём можно было видеть собственное искажённое отражение — ни пятнышка ржавчины, ни царапины, ни следа той заводской смазки, с которой оно было куплено. Но на черенке, там, где чёрная резиновая рукоятка с анатомическими выемками для пальцев соединяется с деревом, в микроскопической щели, куда не добралась ни тряпка, ни щётка, осталась та самая земля. Чернозём. Яковырнула крошку ногтем — тем самым, чёрным, — и поднесла к носу. Запах был тот же. Глубинный, сырой, тревожный. Запах шёл оттуда, из этой щели, и он был неопровержимой уликой того, что лопату использовали. Использовали много, яростно, загоняя в землю по самый черенок.

А потом настало утро, которое раскололось, как та чашка. Я стояла босиком на холодном линолеуме кухни, и по полу, в лужице недопитого вчерашнего чая, расплзались три аккуратных фарфоровых черепка. Чашка была из того самого сервиза, который мы купили в Икее, — белая, с незатейливым синим цветочком на боку. Я разглядывала осколки и думала о том, что теперь в сервизе будет не хватать одной чашки, и эта мысль почему-то казалась мне невыносимо, космически трагичной, более трагичной, чем смерть Игоря. Наверное, потому что смерть была слишком огромна для осознания, а неполный сервиз — это конкретно, это вещь, это то, с чем можно смириться. В дверь позвонили. Не коротко и вежливо, двумя кнопками, как звонят почтальоны или курьеры, а длинно, требовательно, с каким-то истеричным дребезжанием. Я доковыляла до двери, стараясь не наступить на осколки, и открыла, даже не посмотрев в глазок — мне было всё равно.

На пороге стояла тётя Зина, соседка с четвёртого этажа, и была она похожа на старую серую мышь, которую выгнали из норы и которая теперь жмётся к стенке, вздрагивая от каждого шороха. Бесформенная мохеровая кофта болотного цвета, пуговицы на которой не совпадали с петлями, сидела на ней мешком, а редкие, выкрашенные в неестественный фиолетовый оттенок волосы были уложены на бигуди, прикрытые сверху нелепым шёлковым платком. Она прижимала к впалой груди банку с прошлогодним вареньем — кажется, крыжовенным, — и смотрела на меня снизу вверх, часто-часто моргая выцветшими, слезящимися ресницами.

Тётя Зина просочилась в прихожую, не дожидаясь приглашения. Она всегда так делала — переступала порог раньше, чем ты успеваешь сказать «проходите», и сразу же заполняла всё пространство густым, удушающим запахом нафталина и земляничного мыла. От этого запаха у меня мгновенно зачесалось в носу. «Валюша, горе-то какое, — запричитала она привычной скороговоркой, ставя банку на тумбочку прямо рядом с моими ключами и недочитанной книгой. — Я всё хотела зайти, поддержать, да ноги проклятые не ходят, радикулит замучил. Игорёк-то какой был хороший. Золотой человек. И ведь чуяло моё сердце беду, вот тебе крест, чуяло».

Она придвинулась ближе, и я инстинктивно отступила на шаг, упёршись спиной в стену. Её голос упал до заговорщицкого шёпота, того самого, каким передают сплетни у подъезда, оглядываясь по сторонам. «Слушай, Валюша, тут такое дело... Ты только не подумай ничего такого, я просто по-соседски, по-человечески... Мой дачный-то участок, ну, ты знаешь, за выездом из города, сразу за постом ГАИ, где ещё старый дуб стоит. Я его уж лет пять не обрабатываю — сил нет, здоровье не то. Бурьян там в человеческий рост, крапива, лопухи, лебеда. Зайди — не выйдешь. А Игорёк твой, покойный, Царствие ему Небесное, за неделю до аварии ко мне пришёл. Стучится в дверь, стоит серьёзный такой, собранный, взгляд прямой. Я его сначала и не узнала даже — похудел, что ли, или постригся?» Она перекрестилась на висящую в коридоре иконку Казанской Божьей Матери, которую я всё собиралась снять, да руки

не доходили. «"Тётъ Зин, — говорит, — мне ваш участок на месяц нужен. Позарез". И деньги вперёд отдал, все до копеечки, я даже не просила, не заикалась. Он мне купюры в руку сунул и ключи забрал. А потом, через пару дней после того, еду я на электричке, в окошко смотрю, и вижу — идёт он с автобусной остановки, неспешно так, устало. Весь в земле перепачканный, как шахтёр из забоя. Лицо чёрное, одежда чёрная, ботинки чёрные. Но довольный, Валюша. Улыбается. Я ему в форточку кричу: "Игорёк, может, помочь чем?" А он рукой машет — мол, сам справлюсь, не надо. И пошёл дальше. Я ещё подумала тогда: что ж он там такое делает? Говорил, проект у него. Проект какой-то».

Меня затрясло. Мелкой, противной дрожью, которая началась откуда-то из солнечного сплетения и разбежалась по всему телу, добравшись до кончиков пальцев. Проект. Мой муж, который якобы разбился насмерть на мотоцикле за неделю до этого разговора, арендовал заброшенный дачный участок, заросший бурьяном, и копал там землю финской штыковой лопатой. Зачем? Что он искал? Что он строил? И почему он был доволен, перепачканный землёй с головы до ног? Я не стала пить валерьянку, хотя на кухне стояла целая аптечка, собранная заботливой рукой Игоря — он всегда боялся, что у меня поднимется давление. Я не стала рыдать в жилетку тёте Зине, хотя её мохеровая кофта, казалось, была создана именно для того, чтобы в неё рыдали. Я выдавила из себя вежливую, мёртвую улыбку, сказала что-то невнятное про то, что мне нужно на обследование в поликлинику, и практически вытолкала её за дверь, не обращая внимания на её оскорблённо поджатые губы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.